

Источник: Абрамов Ф. А. «Семь верст до небес» : из воспоминаний об Александре Яшине / Ф. Абрамов // Собрание сочинений : в 6 т. / Ф. Абрамов. – Санкт-Петербург, 1993. – Т. 5. – С. 393–410.

«СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»

Из воспоминаний об Александре Яшине

Я должен, я обязан написать о нем, потому что многие ли еще так знали этого человека, как я?

Но, боже, как тяжело, как трудно писать об Александре Яшине! Неужели оттого, что и сама-то дружба наша была тоже тяжелая и трудная, то вскипавшая шумно и радостно, как весенний ливень, то опять месяцами тлевшая и чадившая дымной головешкой, уцелевшей от большого костра?

Да, мы начали с пламенной дружбы, прямо-таки взаимного обожания, а кончили отчуждением, чуть ли не враждой, через которые, к великой горечи моей, не смогли полностью перешагнуть даже в самые последние дни поэта.

1

Нас с Александром Яшиным свели литературные невзгоды. В ноябре 1962 года Яшин опубликовал в «Новом мире» свою знаменитую «Вологодскую свадьбу», а месяцем позже, в январском номере «Невы» за 1963 год, появилась моя повесть, или, как тогда больше называли ее, очерк «Вокруг да около».

Произведения эти, разные по письму, по содержанию, были продиктованы одним чувством — привлечь внимание к трудным и острым проблемам деревни. Ни малейшего лака. Ни малейшей подсветки. Честный и откровенный разговор о реальной жизни, о наболевших вопросах в развитии сельского хозяйства.

К сожалению, вот эта-то обнаженность далеко не всем пришлась по душе. В печати появились разносные статьи и рецензии, нас стали прорабатывать на разного

рода собраниях и совещаниях, и, мало того — на нас напустили еще земляков, от имени которых в газетах были напечатаны так называемые открытые письма, жанр, который в те годы был в немалой моде. Коротче, нам с Яшиным было нелегко, и вполне понятно, что мы потянулись друг к другу.

Дело было, кажется, так. Желая хоть как-то поддержать товарища по несчастью, мне в мартовском номере «Звезды» за 1963 год удалось напечатать рецензию на его повесть «Сирота», которая в 1962 году была опубликована в журнале «Москва».

Яшин рецензию заметил и тотчас же откликнулся на нее письмом. Между нами завязалась переписка, а затем — это уже было в августе — Яшин пригласил меня на Вологодчину, в свои родные края, где он в то время жил с женой и младшим сыном.

Я не долго раздумывал. Уж очень хотелось посмотреть на смельчака, накатавшего «Вологодскую свадьбу», а еще незадолго до этого нашумевшего рассказом «Рычаги», — произведением, быть может, не безупречным в художественном отношении, но поразительным по силе разоблачения бездушного бюрократизма (Яшина-поэта в то время я почти не знал).

Должен сказать, что на мою родину попадать нелегко — таежная деревня в четырехстах километрах от ближайшего города, а к Яшину попадать и того труднее. Сперва поездом по Кировской дороге до станции Шарья, потом укачливой поползухой «Аннушкой» до райцентра, бывшего уездного города Никольска, а от Никольска километров тридцать на машине — полями, деревнями, разомлевшими на августовской жаре невеселыми ельниками. Кстати, последний отрезок пути очень поэтично описан Василием Беловым в очерке «Бобришный угор» и совершенно неподражаемо, предельно просто и лаконично — самим Яшиным:

Я из тех самых мест,
Где семь верст до небес,
И все лесом и лесом.

Блудново, родная яшинская деревня, поначалу меня разочаровала. У нас, на Пинеге, деревни стоят на всхолмьях, на крутых угорах, красных и белых щельях по-нашему, да непременно поблизости от реки, да чтобы просторы и огляды вокруг на целые версты были, а тут,

смотрю, небольшая деревенька в низине, в темных дремучих ельниках — ни дать ни взять, заблудилась.

Единственное, что, помню, несколько примирило меня с нею, — это белые разливы высокой, хорошо уродившейся ржи на полях возле Блуднова да зеленая травка-муравка во всю улицу, которая придавала деревне какой-то удивительно сказочный, патриархальный вид.

Дом Яшина, просторный, еще добротный пятистенок с вышкой, с боковой избой-зимницей, очень похожий на наши пинежские постройки, оказался едва ли не самым лучшим домом в деревне, — чувствовалось, что покойный хозяин его, отчим Яшина, был в свое время далеко не последним человеком среди своих земляков.

Самого Яшина дома не было, он жил в своем новом домике на знаменитом ныне Бобришном угоре, на даче, как выразилась его старая мать, и добрейшая, бесхитростная сестра Яшина — Александра, или Саня, как все, и взрослые, и малые, зовут ее в семье Яшиных, хотя у этой Сани к тому времени был уже свой внук, проводила меня за деревню.

— Тут рядом, — сказала она, неопределенно махнув рукой в сторону леса, — все тропкой да тропкой, в саму избу и упруешься.

«Рядом», однако, оказалось мерой северной. Я добрых два километра шлепал болотом, гулом гудевшим от комарья, скакал с одного старого, прогнившего бревешка на другое, и надо ли говорить, что я на все лады клял своего будущего друга. Ведь это же специально придумывать, так не придумать — чтобы в такую болотину да сырь с новым жильем залезть.

А кроме того, во мне все кипело еще из-за встречи, которой он благодетельствовал меня. Ведь я-то как себе представлял? Едва я вывалюсь из самолета, как меня тотчас же подхватят его надежные руки, и уж, конечно, у меня не будет никаких забот с транспортом. А вместо этого мне пришлось идти на поклон в райком (там, ради справедливости надо сказать, у Яшина была договоренность насчет машины), а сейчас даже тащиться пехом, да по болоту, по этим редким и ненадежным мостовинам, тогда как я после второго ранения на фронте и на твердой-то земле не очень уверенно стою на ногах.

Зато уж когда я выбрался из этого болота да глянул вперед, у меня дух захватило от восторга. Хотя

что я увидел особенного? Избу под белоствольными березами. Но какая это была изба! Изба-невеста, изба-солнце! Новехонькая, молодцеватая, сложенная из свежего соснового кругляша, она ослепительно, алмазно сверкала смолой и вся сияла радостью, счастьем. И недаром Яшин так самозабвенно любил ее, недаром из-под его пера вылились эти удивительные строки:

Завихряется стружка,
Пахнет ягодным бором.
Вырастает избушка
Над Бобришным угором.

В получасе шаганья
От деревни Блуднова
Жизнь моя, как сказанье,
Начинается снова.

Яшины и на этот раз не вышли ко мне навстречу. «Мы ушли в лес. Кричите», — прочитал я в записке, припиленной к столику возле избы, к которому чуть ли не вплотную подступал ароматный, с красными листьями земляничник.

Я долго сидел у этого столика, наслаждаясь красотой избы и мягким, убаюкивающим шелестом берез. Потом встал, прошел за избу.

Молодой сосновый бор, жердняк на крестьянском языке, высланный серебряным ковром беломошника. Вышел на передки избы, и картина, которую я увидел внизу под угором, оказалась еще краше. Широкие разливы зеленых лугов, за лугами лесистая гряда, упирающаяся в синее небо, и оттуда, из-под гряды, весь заросший седым ивняком, выкатывался Юг — река, которую я знал еще со школьных лет и которая тут, под Бобришным угором, вогнувшись подковой, выглядела маленькой неказистой речонкой.

Меж тем время шло, изба от вечернего солнца стала алой, а хозяев все не было и не было. Я начал кричать.

И вот чудо: тотчас же снизу, с луга, совсем-совсем близко от избы, донеслись голоса — радостные, звонкие на вечерней заре.

Первым в угор влетел светлоголовый десятилетний сын Яшина — Миша, потом я увидел Злату Константиновну, хозяйку, сияющую, романтически-восторженную, голубоглазую, с охапкой пестрых цветов, потом, спустя немалое время, в угор поднялся и сам Яшин — бледный, тяжело, открытым ртом дыша, но победно улыбающийся, открыто, по-мальчишески радуясь

и встрече, и лесной находке — матерой клюке-паллице, на которую он опирался.

Лесная прогулка совершенно вымотала Яшина, и он, все еще запаленно дыша, потянулся к скамейке возле столика.

Меня немало удивил облик Яшина, который показался мне не очень деревенским, да, пожалуй, не очень и русским. Большой, горделиво посаженный орлиный нос (у нас такого по всей Пинеге не сыщешь), тонкие, язвительные губы под рыжими, хорошо ухоженными усами и очень цепкий, пронзительный, немного диковатый глаз лесного человека, но с усталым, невеселым прижмуром...

Первое время разговор не клеился и мы больше работали глазами, так и эдак приглядываясь друг к другу, потом Злата Константиновна накрыла на стол (жареные утки, настрелянные самим Яшиным), появился коньячок, и лед тронулся. А каких-нибудь десять-пятнадцать минут спустя мы уже выкладывались друг перед другом сполна.

Разговор, конечно, в первую очередь забурлил вокруг наших литературных дел. Яшин тяжело переживал проработочную бурю, разразившуюся над ним...

Он просто задыхался от бешенства, от своего бессилия. Ведь еще недавно его носили на руках, чуть ли не со звоном встречали и местные власти и земляки, а сейчас все отвернулись, хамство на каждом шагу. Колхоз даже избу достроить отказался, хотя у него с колхозом было специальное трудовое соглашение.

— А за что, собственно, такая немилость? За то, что человек честную вещь написал?..

Но особенное негодование вызывали у него молодые писатели Вологды, которых он так или иначе всех вывел в люди и которые в трудную минуту предали своего учителя.

— Ну, может, хоть не предали,— попытался я вступить за вологжан.

— Предали! — зло оборвал меня Яшин.

Потом, чтобы посильнее уязвить меня, вдруг перешел на официальное обращение:

— Вам, дорогой Федор Александрович, можно предаваться благодущию, у вас не семеро по лавкам, да и жена, как мы слышали, доцентик, а мне надо свой «колхоз» обеспечивать своевременной выдачей на тру-

додни. Ежедневно! — жестко добавил он. — А поступления — какие?

Помолчав, он устало закрыл глаза и сквозь зубы еле слышно процедил:

— Надоело зарабатывать деньги...

— Но сейчас, Саша, когда мы на подножном корму, можно не думать об этом каждую минуту.

— Во-во! — с ухмылкой ответил жене Яшин. — Давай пригоним сюда на грибы да на ягоды весь наш колхоз — это ты хочешь сказать?

— А хорошо бы! — воскликнула, загораясь, Злата Константиновна.

— Сентименты, сентименты, матушка!

Мне стало жаль Злату Константиновну, которая, как мне показалось, просто погасла под суровым взглядом мужа, и я решил перевести разговор на местные красоты, на окрестные леса, которые сейчас чудно горели в красном пламени вечерней зари.

Яшин отрубил:

— Леса здешние, между прочим, в этом году пустые. В них сейчас ничего не растет.

— Ну как же, Саша, — подала опять голос Злата Константиновна. — А грибы? Мы же полкорзины насобирали.

— Во-первых, в этой полкорзине половина гнилых, и их надо немедленно выбросить, а во-вторых, матушка, мы с тобой не в московском салоне, а в деревне. А в деревне десяток обабков, собранных втроем за четыре часа, за грибы не считают.

Я начал расхваливать Бобришный угор — ну, думаю, тут-то уж Яшин подобрет.

Не подобрел. Хмуро, не поднимая глаз от стола, бросил:

— Неплохое место для будущей могилы.

— Ну что за шутки, Александр! — возмутилась Злата Константиновна и стала подзывать с реки сына, который убежал туда почти сразу же после возвращения из леса, как только утолил немного голод, — ведь он был еще ребенок и ему хотелось продемонстрировать гостю свои рыбацкие способности.

Кажется, сам дьявол вселился в Яшина, ибо через какую-то минуту, когда далеко за лесной грядой затихло эхо перекатывающихся голосов, он упрямо сказал:

— Здесь, возле стола, лягу.

Помолчал, исподлобья сверля нас своим бешеным ястребиным глазом, не терпящим возраженья, и уточнил деловито, по-крестьянски очертив рукой полукружье:

— Вот тут, на этом месте, вырыть могилу.

Мы со Златой Константиновной со страхом переглянулись. И тут Яшин, поняв, видимо, что хватил через край, натужно усмехнулся:

— Что, напугал?

В бутылке оставался еще недопитый коньяк. Яшин разлил его по стаканам, медленно выпил, смакуя, как человек, понимающий толк в этом деле, и закусил... таблеткой валидола. Между прочим, второй раз за вечер.

Я пошутил:

— Да вы, никак, Александр Яковлевич, перешли на пищу будущего? — я имел в виду всякие там фантастические романы, где герои обычно питаются таблетками.

Яшин колюче посмотрел на меня, но ничего не сказал.

Заря за рекой заметно размылась. В зеленоватом небе проклюнулись первые звездочки, туман подступил к самому подножью Бобришного угора, затопив весь луг.

Яшин зябко передернул своими широкими, костистыми плечами, откашлялся — у него была астма — и уже обычным, глуховатым голосом предложил:

— А не пора ли нам, дорогие товарищи, на боковую?

В избу он вошел с клюкой-палицей, с той самой штуковиной, которую принес из леса, и благоговейно поставил ее к переднему простенку под портретом Льва Толстого, своего божества, косматого и даже страшного в эту минуту, пронзительно глядящего как бы из пламени (вся изба была залита красным светом) и очень похожего на лешего. Да его, кстати, как я позднее услышал, так и называли местные старухи («Имба-то бы на веселом месте, и в самой избе весело, да пошто он лешего-то вместо иконы повесил?»).

В избе с белыми сосновыми стенами, еще не успевшими пожелтеть, было тепло и хорошо пахло прогретым за день деревом, мохом в пазах и полевыми ромашками, стоявшими в консервной стеклянке из-под компота на подоконнике справа от портрета Толстого.

— Вот так и живем, — сказал Яшин совсем запросто. Но тут же съехидничал: — А у вас, поди, целый дворец, Федор Александрович?

— У меня и кола своего нету, а не то что чего другого.

— А знаете, дорогой Федор Александрович,— вдруг сказал Яшин,— мы ведь с вами, чего доброго, еще друзьями станем. Как вы на это смотрите?

Злата Константиновна пламенно, всей душой взмолилась:

— Дай-то господи! Я очень, очень хочу, чтобы вы подружились.

Спать легли на нары, устроенные на козлах возле стены слева от дверей, и накрылись одним большим старым стеганым одеялом, явно принесенным от матери,— я помню по своему детству такие большие семейные одеяла.

Набегавшийся за день Миша уснул мгновенно. К моему немалому удивлению, довольно быстро заснули и хозяева, хотя сон у Яшина был беспокойный и тяжелый. Он постоянно ворочался, стонал и надрывно кашлял.

Ну, а что касается меня, то я и не пытался настраивать себя на сон. На новом месте я вообще трудно засыпаю, а тут столько всяких впечатлений — надо было в них разобраться. А главное — решить, что делать завтра: с утра отчаливать от Яшиных или спустить свой отъезд на тормозах. Я вот так, по горло был сыт Яшиным.

2

Я прожил на Бобришном угоре две недели. И это были незабываемые дни.

Нет, нет, Яшин не стал ангелом на другой день. Едкая насмешка, злость и желчность, резкие перепады в настроении, даже грубость, даже жестокость — все это осталось. И с ним было нелегко — того и гляди, ужалит. А с другой стороны, сколько в этом человеке было доброты, детской доверчивости, истинного бескорыстия и благородства, русской удали и русского озорства!

Существует мнение, что русский национальный характер по своим качествам является характером полярным, характером противоположностей. Так вот, Яшин — ярчайшее подтверждение. И надо ли говорить, что именно особенности яшинского характера во мно-

гом предопределили исповедальный характер его зрелого творчества, его совестливость и самосуд, не знающий никакой пощады к себе?

Но вернемся к Бобришному угору.

Яшин за ночь, видимо, неплохо отдохнул, и наутро его трудно было узнать. Ничего от вчерашнего брюзжанья и раздражительности. Деятельность, лихорадочная деятельность и яшинская жадность к жизни.

За один день мы порыбалили на реке, сходили в лес, погоняли уток в озерах и старых речисщах, которых немало на тамошних лугах. Право распоряжаться хозяйским ружьем было великодушно предоставлено мне, и я не буду скрывать: оскандалился — вернулся домой без пера. Но Яшин на этот раз не ехидничал.

Да по правде сказать, и некогда было ехидничать. По плану мы должны были быть в гостях у его сводной сестры, а она жила неблизко — в другой деревне.

С этого вечера началась гостьба, растянувшаяся чуть ли не на неделю. Причем гостьба, какую мог придумать только Яшин. По героям его повести «Вологодская свадьба».

Большинство этих героев были близкими или дальними родственниками Яшина, и объезд их по деревенским понятиям был делом нормальным.

Но что меня всякий раз коробило? Яшин, нимало не стесняясь их присутствия, начинал вслух просвещать меня, кто из них какую роль играет в повести, давая при этом далеко не всегда лестные характеристики.

Некоторых «прототипов», особенно поддавших мужиков, это забавляло, и они еще сами подкидывали подробности, упущенные автором при описании свадебного обряда.

Другие, как сестра Яшина Мария и ее однорукий, но работающий муж, вежливо отмалчивались, и только когда Яшин уж слишком яростно, что называется по-яшински, начинал воспитывать своего шурина, который и одной рукой неплохо молотил свою покорную жену, тот, виновато улыбаясь, вставал и выходил из избы.

Но бывало и не так гладко. Раз приехали мы на льнозавод, где жили главные герои «Вологодской свадьбы» — племянница Яшина Галя, та самая Галя, которая пригласила его на свадьбу, и обожаемый ею жених, теперь уже муж, долговязый Петр Петрович.

Яшин на крыльце дома меня предупреждает:

— Наберитесь терпенья, дорогой Федор Александрович. Тут подольше придется задержаться: главные герои!

А у этих главных героев мы и полчаса не пробыли.

Сухо, неприязненно встретили. Как чужих. Даже чашки чая не предложили, что по деревенским обычаям равнозначно чуть ли не оскорблению.

Яшин был убит совершенно. И когда мы вышли на улицу, он только руками развел:

— Ничего, ничего не понимаю. За что они меня так? Что я сделал им плохого? Да я в трубу вылетел из-за ихней свадьбы!

— Бывает,— сказал я, и в душе подивился яшинской наивности.

А как? «Прославил» своих земляков на весь свет, и еще хочет, чтобы его благодарили. Да для иного деревенского жителя всякая популярность, выделяющая его из общей массы, просто невыносима. Я помню, как однажды моего племянника, тогда еще подростка, отличившегося на сенокосе, приехали фотографировать для районной газеты. Так что он сделал? Убежал из дому...

— Чертов народ! — вскипел вдруг Яшин. — Ты для него — все, жизнь готов отдать, а он первый же тебя копытом! Неужели это и у других народов так?

И тут начался у нас нервный и болезненный для обоих разговор о земляках, о взаимоотношениях писателя с земляками, которые, увы, далеко не всегда поддерживают его в борьбе за правое дело.

Кончился этот день взрывом, разоблачительными речами Яшина, которые были так хорошо знакомы близко знавшим его. Причем что удивительно? Жертвой их стал один работник райкома, давний его товарищ, который искренне любил его и помогал ему, чем мог. Но таков уж был Яшин: на близком-то человеке он нередко и отсыпался.

— Заелись, забурели, сволочи... До чего народ довели... Не вороти, не вороти рыло-то, правду говорю...

И т. д. И т. п. Горный обвал, кипящий водопад!

Мне, не знавшему тогда этой слабости за Яшиным, было дико все это слышать, но хозяин и не думал сердиться на гостя. И это еще больше выводило из себя Яшина.

В разъездах по гостям, по знакомым и близким мы провели, как я уже говорил, чуть ли не неделю. А потом

как-то встретили на одной из улиц Никольска Вадима Каплина, молодого сотрудника районной газеты, влюбленного в Яшину, и нас захватила страсть — медвежья охота.

Дело в том, что этот самый Вадим Каплин, такой же пылкий романтик и патриот своего края, как Яшин, в прошлом году убил на овсах медведя (его в городе так и звали теперь Вадим-медвежатник), и, когда мы закатились к нему домой, он прежде всего продемонстрировал нам медвежью шкуру, живописно раскинутую на полу гостиной.

И это решило все. Яшин с той минуты, как увидел эту медвежью шкуру, уже и думать ни о чем не мог. Да и я загорелся: у нас, на Пинеге, слыхом не слыхали о медвежьей охоте на овсах. И как же упустить под-вернувшийся случай?

Сборы были, как всё у Яшина, скоропалительными. Не прошло и двух часов после нашей встречи с Каплиным, как мы уже тряслись в его драндулете.

Драндулет этот только с величайшей натяжкой можно было назвать машиной. Он был собран из немислимого разнокалиберного старья, так что даже знаменитая «Антилопа Гну» по сравнению с ним казалась верхом технического совершенства, и я не сомневался, что он рассыплется еще на улицах Никольска. Но Каплин, великий оптимист, был уверен в своем козлике (так он любовно называл своего рысака). И вот мы благополучно, правда под насмешливые и удивленные взгляды уличных зевак, миновали город, въехали в лес, а драндулет, то и дело чихая и извергая целые тучи вонючего смрада, все тянул и тянул. И так без особых приключений мы добрались до одной деревни (кажется, она называлась Широкое), а оттуда вместе с местным учителем-стариком уже пешком отправились на лесной починок.

Я не буду вдаваться в подробности, связанные с нашей длинной и нелегкой дорогой, большей частью пролежавшей через комариное сыролесье, дорогой, напрочь размолотой тракторами и машинами. Не буду также говорить и о своем крайнем удивлении, когда мы вошли в поля. На добрых полкилометра овсы в одну сторону, в другую, а за овсами, на пригорке у леса, освещенные вечерним солнцем крыши домов (штук пять я насчитал) — да какие тут могут быть медведи! Или на Вологодчине и медведи особые?

Каплин не стал сорить словами, а взял меня за руку, завел в овес и молча ткнул рукой в землю. Огромная куча медвежьего помета, и довольно свежего, сплошь покрытая толстым слоем шевелящейся мошкары.

Дальше признаков пребывания медведей на полях оказалось еще больше — овсы были сплошь выброжены, а кое-где и скатаны как войлок, и мы притихли.

Медведя, выражаясь словами одного стихотворения Яшина, мы не убили, хотя все было: было сиденье на вечерней заре на лабазах, ерундовых дощечках, кое-как прикрученных проволокой к стволам осин и берез кем-то из наших предшественников, было кормление комаров (зажрали, сволочи!), было терпение. Одного не было — веры, веры в то, что выйдет медведь. Потому что ведь где охотимся? В деревне!

Каплина и старого учителя это не удивляло, они здесь бывали раньше, а мы с Яшиным были потрясены. В сущности, мы впервые вот так вплотную столкнулись с тем, что позднее, через десять лет, будет названо второй целиной, русским Нечерноземьем.

Уже ночью в полной темноте и тумане, по пояс мокрые (нам таки немало пришлось побродить в отсыревших овсах), мы вышли наконец к нежилым, заброшенным домам, разожгли костер, и, помню, Яшин долго и онемело стоял, вглядываясь в высветленные огнем бревенчатые стены с черными провалами выбитых окон, и слезы текли по его рыжим небритым щекам.

3

Наша дружба продолжалась без мала четыре года. Были письма, были встречи, были разговоры и споры о жизни, о литературе и конечно же о нашей матери — деревне.

Яшину легко давалась переписка. В своих письмах он запросто, без всякой натуги и со свойственной ему откровенностью посвящал меня в свои повседневные дела и быт, очень неустроенный, материально не обеспеченный, делился замыслами литературных произведений, главным образом прозаических, — а их у него, этих замыслов, была уйма, и часто присылал свои новые, еще не напечатанные стихотворения, требуя честного и неллицеприятного отзыва.

К стыду моему, я не всегда оказывался на высоте. Некоторые стихи мне определенно не нравились своей излишней прямолинейностью и притчевой назидательностью, но сказать об этом прямо у меня не хватало духу, и появлялась уклончивость и витиеватость, которая раздражала нас обоих.

Яшин же, когда дело касалось искусства слова, не делал ни малейшей скидки ни на приятельские отношения, ни на авторитеты. Тут он был беспощаден и неподкупен. Помню, послал я ему четыре рассказа, над которыми работал чуть ли не целый год. Принял он безоговорочно только один — «Медвежью охоту», или «Дела российские», как теперь он называется. Что же касается трех других, кстати сказать, тогда же напечатанных в одном журнале, то он их просто отверг как вещи малохудожественные.

Вообще нужно сказать, что письма к Яшину мне давались не без мозолей, и тут, возможно, известную роль сыграла неопределенность наших отношений — мы долго обращались друг к другу то на «вы», то на «ты».

Встречались мы нечасто, главным образом в Москве, куда я изредка наезжал. Яшина в то время не без скрипа, но в некоторых журналах все же печатали, по крайней мере его стихи. И он, как товарищ и друг, все делал, чтобы поскорее была снята епитимья за «Вокруг да около» и с меня. Он знакомил меня с московскими литераторами, при этом всякий раз расхваливал меня как писателя, водил в редакции некоторых журналов и издательств, и наконец благодаря его стараниям в июне 1964 года меня пригласили в Краснодар на выездной пленум Союза писателей РСФСР по вопросам литературы и сельского хозяйства.

Краснодарская общественность встретила меня неприязненно — разносной статьей в областной газете: «На Краснодарской земле нет и не может быть места для «Вокруг да около». И, помню, Яшин просто клокотал по поводу этой западни (он так и выразился в разговоре с одним руководящим товарищем), а потом вдруг махнул рукой:

— Да бросьте вы переживать из-за этой хреновины! Надо гоголем ходить, а мы напишем правду — и чуть ли не у каждого мерзавца просим прощения. Пойдемте, лучше я вас познакомлю с Василием Беловым.

Я озадаченно заводил глазами.

Яшин вознегодовал:

— Как? Вы Василия Белова не знаете? Да он один стоит всего нынешнего совещания! Ей-богу! — И тут он с жаром, прямо-таки захлеб стал рассказывать про своего молодого земляка из Вологды, звезда которого еще только-только начинала всходить.

Вскоре мы уже втроем сидели в ресторане гостиницы, и тут вдруг выяснилось, что я Василия Белова знаю. Во-первых, запомнилось его письмо по поводу моего первого романа «Братья и сестры», который они читали всей семьей и в котором увидели самих себя, свою безотцовщину, а во-вторых, — бывает же такое! — в первом номере «Невы» за 1963 год, в том самом номере, где напечатана моя злополучная повесть «Вокруг да около», напечатан был и рассказ Василия Белова «Люба-Любушка». Кстати сказать, по поводу этого рассказа Белов прислал мне письмо и просил высказать свое мнение.

Я прочитал рассказ. И, увы, он не показался мне из ряда вон выходящим. Мягко, лирично написан. Хороши пейзажи. А в целом довольно традиционен и даже пересахарен, что у меня в те годы вызывало самый решительный протест. Короче, в то время я скорее голову бы дал на отсечение, чем поверил бы, что автор «Любушки» через каких-то пять лет напишет «Привычное дело», повесть, которая сразу же станет славой и гордостью нашей литературы. А вот Яшин сумел разглядеть в Белове талантливого прозаика, когда тот еще писал стихи.

Совещание «деревенщиков» в Краснодаре прошло не без пользы. По крайней мере, благодаря ему многие из нас, и в том числе я, сумели побывать в кубанских колхозах, которые по своей экономике, по оплате труда колхозников так разительно отличались от колхозов средней и северной России, что некоторые ораторы в своих выступлениях уже не называли иначе Кубань как землей, где воочию «взошло солнце коммунизма».

Как я уже говорил, характер у Яшина был совсем не идеальный. Да и у меня, прямо скажем, не сахарный. И искры от нас начали сыпаться чуть ли не с первого дня. Дело дошло даже до того, что в день моего отъезда из Никольска Яшин не поехал провожать меня на аэродром. Это своего-то гостя, первого, как не раз провозглашалось, друга! Правда, минут за десять до вылета самолета он все же, весь взмыленный и с покаян-

ным видом, примчался на аэродром, и мир был немедленно восстановлен. Но бывали ошибки и более затяжного порядка. Ну, а настоящая гроза меж нами разразилась году в шестьдесят пятом, когда однажды Яшин приехал ко мне в Ленинград с ответным визитом, а заодно и по делу: не удастся ли тут, в Ленинграде, хоть как-то поправить свои финансовые дела — продать какому-либо журналу новый рассказ или стихи.

По поводу такого события я, можно сказать, разработал целую программу, и коронным номером этой программы должен был стать роскошный обед у моего приятеля, жена которого была непревзойденным кулином.

И вот я, заранее одетый в парадный костюм, с праздничным настроением в душе, сижу дома и жду Яшина, с тем чтобы в два часа, как было условлено, отправиться вместе на обед. Наступает два часа — Яшина нет, наступает пол-третьего, три — Яшина все нет. Я в отчаянии — случилось что-нибудь?

Приятель, вполне понятно, тоже нервничает: обед переставляется. И вообще высказывает всякие догадки: дескать, транспортабельны ли вы? Может, мне самому подъехать за вами?

Наконец в полчетвертого звонок от Яшина:

— Не жди на обед. Не придю.

— Как не придешь? — с трудом выговариваю я.

— Понимаешь, встретил одну землячку, с которой давно хочу выяснить отношения... — И знакомый, хрипловатый смешок.

— В таком случае, — взрываюсь я, — я больше знать тебя не знаю! — И с размаху бросаю трубку.

Позже, конечно, я не раз казнил себя за свою безрассудную вспыльчивость (сколько раз она меня в жизни подводила!), да и у Яшина-то, как потом оказалось, была самая безобидная, действительно неотложная встреча, но с этой поры мы надолго закусили удила.

Нас пытались помирить знакомые, наши жены. Между прочим, моя жена и тогда считала и до сих пор считает, что ссора у нас вышла... из-за ножа, который я подарил Яшину. Дело в том, что на Яшина, человека, всегда чем-либо увлеченного, в то время напала очередная страсть, или, как говорила Злата Константиновна, «новая болезнь» — коллекционирование холодного оружия. Мне, например, он писал: «Собираю всякое холодное оружие от сапожных и даже перочинных

ножей до сабель, шпаг, пик и т. д. Если у Вас есть что-то, подарите мне, ради Христа».

Я послал ему довольно любопытный, с секретом нож-складень, выкованный вятскими мастерами. И вот этот-то нож, если верить народной примете, которую мне напомнила жена, и развел нас с Яшиным. Как бы то ни было, но после того как я под каким-то предлогом сумел обратно забрать этот несчастный нож, в отношениях между нами и вправду стали появляться просветы.

Тому способствовали немало и жизненные обстоятельства. У Яшина трагически погиб старший сын-юноша, и мог ли я не принять это страшное горе в свое сердце? С другой стороны, в июле 1966 года случилось несчастье со мной в Архангельске (микроринфаркт), и вот уже Яшин готов всем пожертвовать ради меня: «Только отзовитесь, поманите пальцем — и я приеду, чтобы посидеть около Вас».

Но... это были все же отдельные порывы, благородные порывы, идущие больше от благодарности к прошлому, но самого этого прошлого вернуть уже было нельзя.

4

— А ты знаешь, что Яшин безнадежен?

— ???

— Да, третью операцию недавно перенес.

Ныне, услышав что-либо в этом роде, я бы немедленно, в тот же день бросился в Москву. А тогда, в июле шестьдесят восьмого, помнится, прошло дней пять, прежде чем я решился на поездку. Потому что очень уж страшно было мне, здоровому человеку, вдруг явиться к умирающему другу, пусть и другу в прошлом.

Палата, в которой лежал Яшин, была просторная, вся в солнце, в цветах, и потому особенно тяжело было увидеть его неподвижным, словно распятым на узкой больничной койке, стоявшей посреди палаты.

Избегая глядеть на больного, мы с Александром Михайловым — у меня так и не хватило духу заявиться одному — пролепетали какие-то слова приветствия и смущенно присели на краешек табуреток возле дверей.

Яшин молчал.

Злата Константиновна, уже сколько недель неотлучно жившая при нем в больнице, с преувеличенной живостью начала было рассказывать о подарке земляков — маленькой сосенке с Бобришного угора, присланной в глиняном горшке с родной землей, но Яшин с укором посмотрел на жену, и в палате опять наступило тягостное молчание.

Выручила, как всегда, литература-матушка; Михайлов решил познакомить Яшина с наиболее интересными публикациями в последних номерах журналов, однако Яшин и к этому остался безучастен.

— А роман-то Федора Александровича читали? — вдруг спросил Михайлов.

Я весь внутренне вздрогнул: что-то сейчас скажет Яшин о моих «Двух зимах и трех летах»? Ведь роман был напечатан в первых номерах «Нового мира» за этот год, когда он еще был относительно здоров, и едва ли он не проявил к нему никакого интереса.

Яшин не ответил. И только когда разговор зашел о Василии Белове, его духовном сыне, глаза его, очень строгие, отрешенные, чем-то напоминавшие глаза святых с фресок Феофана Грека, на какое-то мгновение, мне показалось, посветлели.

Приободренные этим проявлением жизни, мы с Михайловым вспомнили о бутылке шампанского, купленной по дороге, и быстро, но бесшумно раскупили.

Отпив шампанского, Яшин попросил у жены специально сваренную для него картошку в мундире.

Бледными-бледными руками он сам очистил картошку, посыпал солью и, по-крестьянски поддерживая у подбородка сложенную ковшиком руку, начал медленно жевать. Скоро, однако, он отложил картошину:

— Деревянная какая-то... Уже и картофельного вкуса не ощущаю...

Яшина всегда, сколько я помню, отличала повышенная чистоплотность, и тут он не изменил своей привычке: тщательно вытер платком рот, затем начал было подправлять свои рыжие, за время болезни заметно поредевшие усы и, не закончив этого занятия, погрузился, надо полагать, в свой новый, открывшийся ему в дни болезни, мир...

Я не помню, как мы прощались с Яшиным. Помню только, что у меня было большое чувство вины перед ним, чувство вины живого человека перед умирающим,

и что мне очень хотелось по русскому обычаю попросить у него прощения.

Александр Яшин умер пятидесяти пяти лет, в расцвете духовных сил, своего яркого дарования.

Одна за другой выходили книги его стихов, и каких стихов! Неповторимо самобытных, яшинских, то обжигающих своей раскаленной гражданственностью и исповедальностью, то необычайно душевных и сердечных, раскрывающих самые сокровенные тайны природы, лесного царства. А сколько осталось неосуществленных замыслов в прозе, где он за короткое время утвердил себя одним из крупнейших и многообещающих писателей.

Его кабинет напоминал мастерскую столяра, заваленную всевозможными заготовками. Будущие романы, будущие повести, будущие рассказы и очерки... Одни — лишь болванки, по которым прошелся только топор, другие знакомы уже были с рубанком и стамеской, а над третьими даже потрудился царь столярных инструментов — фуганок.

Природа наделила Яшина могучим организмом. Но жизненные перегрузки: война, ленинградская блокада, откуда его вывезли полуживого, мучительные и затянувшиеся поиски себя как художника, трагическая смерть сына-юноши, хроническое безденежье последних лет — не слишком ли много всего этого для одного человека? А яшинская неуравновешенность и неистовость, его постоянные метания — разве эти свойства его природы не надорвали душу?

Но и то сказать: живи Яшин вне бурь и страстей своего времени, веди он размеренный и уравновешенный образ жизни,— словом, не гори каждодневно на огне, как он сам писал о себе, разве был бы он тем, что есть? Разве сегодня в нашей литературе пылал бы его костер?

Яшина похоронили на его любимом Бобришном угле, которому суждено было стать поэтическим образом всего его творчества.